

Г. О. ВИНКУР

ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТРЕДИАКОВСКОГО

I

Научная литература, посвященная деятельности Тредиаковского, как известно, в течение последних десятилетий заметно возросла. Но основное лингвистическое сочинение Тредиаковского, именно его „Разговоръ между чужестраннымъ челоѡкомъ і російскімъ ѡбъ орфографіі старінной і новой і о всемъ что прінадлежитъ къ сей матеріі“ (1748 г.), к которому не раз обращались исследователи языковых отношений XVII—XVIII вв. (например Я. К. Грот, А. Л. Васильев, В. В. Виноградов), не вызвало все же пока ни одной специальной работы, в которой была бы сделана попытка более или менее подробно разобраться в содержании этого сочинения и дать ему историческую оценку. В предлагаемой статье я рассчитываю показать, что „Разговоръ“ Тредиаковского заслуживает во всяком случае более подробного разбора, чем это было сделано до сих пор.

Известно, что Тредиаковский придавал своему орфографическому трактату очень большое значение и много над ним трудился. Самый текст трактата ему пришлось составлять трижды. Первоначально он написал свое сочинение в форме ученого рассуждения на латинском языке, но вслед за тем решил изложить его в более доступном виде, и наконец Тредиаковский написал наново свое сочинение уже по-русски, в форме диалога „между двумя пріятелями“ (стр. 4)—русским и иностранцем.

В 1747 г. Тредиаковский получил разрешение напечатать свой труд в Академической типографии на свой счет.¹ Но когда начало сочинения уже было отпечатано, на квартире Тредиаковского произошел пожар, уничтоживший все его личное имущество, книги, бумаги, в том числе и большую часть рукописи „Разговора“. Таким образом, автору пришлось еще раз восстанавливать свой труд в большей его части. Повидимому, с этой задачей он справился очень быстро, несмотря на значительный объем труда (464 стр. in 8°), так как в 1748 г. книга уже была отпечатана.

Средства на напечатание этого труда Тредиаковский добыл при помощи лотереи, которую устроили его покровители (имена их неизвестны). В библиотеке М. П. Штокмара есть экземпляр „Разговора“ с надписью на обороте второго титульного листа, раскрывающей имя одного из участников, но, повидимому, не организаторов этой лотереи.

¹ Пекарский. История Академии Наук, II, стр. 120 и сл.

Надпись эта настолько характерна, что позволяю себе привести ее здесь дословно. Она составлена в виде примечания к тому месту предисловия, в котором Тредиаковский благодарит за помощь устроителей лотереи, и гласит следующее: „Рем. Василея Лаврентьевича Соловова 5 рублей к нещастію его зъ сію лот-употребленныя, жалуются на него, что они не отданы лутче нищим“.

Да и вообще надо думать, что у сочинения Тредиаковского читателей было мало, а поклонников, вероятно, и совсем не было. Нельзя не согласиться с биографом Тредиаковского Пекарским,² что в этом виноват сам автор, который „именно этою разговорною формою сделал рассуждение свое невыразимо скучным, потому что уснастил его довольно тяжеловесными шутками..., присловьями, поговорками и прибаутками, часто нисколько не идущими к делу. Все это с первых же страниц „Разговора“ в состоянии надоесть самому терпеливому читателю и отбить у него охоту к дальнейшему чтению“.

Не приходится спорить против того, что как литературное произведение „Разговор“ Тредиаковского очень неудачен. Однако непопулярность его у современников объясняется не только его неудачной литературной формой, но также и самим его содержанием. Мысли Тредиаковского об орфографии были для его времени настолько непривычны и в такой степени расходились с общим направлением в развитии русского письменного языка, что они неизбежно должны были вызвать к себе отрицательное отношение со стороны тех немногих, кто имел терпение прочесть его „Разговор“ до конца или был профессионально заинтересован в предмете книги.

Тем не менее для историка русского языка и русской лингвистической мысли „Разговор“ Тредиаковского сохраняет до наших дней все свое значение чрезвычайно содержательного и поучительного исторического памятника.

По своему содержанию „Разговор“ распадается на три части.

В первой дается систематическое описание старинной, т. е. церковнославянской, орфографии.

Во второй церковнославянская орфография подвергается подробной критике с точки зрения ряда принципов, которые Тредиаковский объявляет руководящими для решения орфографических вопросов, и тем самым намечаются основания для новой орфографии. При этом Тредиаковский несколько раз оговаривается, что свою новую орфографию он предлагает не взамен церковной, а в качестве поправки к орфографии, установившейся в новейшей, гражданской печати, но недостаточно освободившейся от церковной орфографической традиции.

В третьей части содержится заключительная характеристика новой орфографической системы в связи с анализом физиологии звуков речи и фонетической системы русского языка.

Ко всему этому надо добавить, что в своей книге Тредиаковский не только излагает свою орфографическую теорию, но осуществляет также опыт ее практического применения: вся книга целиком написана по той орфографии, которую отстаивает Тредиаковский.

II

В дальнейшем я не буду пересказывать содержание книги Тредиаковского подряд, а сосредоточу свое внимание на основных вопросах, поднимаемых в этой книге, и на том, как они в ней решаются. Сделать

² Там же, стр. 129.

это проще всего, изложив для начала руководящие принципы, которые Тредиаковский кладет в основание своего рассуждения. Эти принципы содержатся в числе одиннадцати „оснований“, которые Тредиаковский перечисляет во второй части книги (стр. 107 и сл.) как отправной пункт для критической оценки орфографии церковных книг. Из них для нас в первую очередь важны следующие:

1) Каждый знак алфавита должен обладать своим собственным, ему одному принадлежащим значением, которым он должен отличаться от всех других знаков (основание I).

2) В алфавите не должно быть лишних букв, т. е. таких, функции которых дублируются другими знаками (основание II).

3) В орфографии не должно быть „связных“ букв, т. е. таких, которыми обозначается сочетание двух звуков и которые поэтому заменимы сочетанием соответствующих двух знаков, как, например, буквы ѣ, ѵ, ѿ (=щч) (основание III).

4) Прописной и строчной варианты каждой буквы должны иметь одинаковую графическую форму (основание VI).

5) Русская орфография должна следовать собственной природе русского языка и не считать для себя обязательными правила орфографии других языков (основание X).

6) Новая русская азбука должна, сколько возможно ближе, походить своим внешним видом на латинскую, а не на греческую, так как именно ради этой цели она и была изобретена и введена в жизнь Петром I (основание XI).

Прочие пять „оснований“ Тредиаковского имеют более частный характер и вытекают из перечисленных здесь общих принципов, а потому будут указаны ниже. Однако для того, чтобы была до конца понятной та критика, которой подвергает Тредиаковский церковную орфографию, нужно указать, что одного, притом самого общего своего орфографического принципа Тредиаковский раздельно не формулирует, считая его, очевидно, само собою разумеющимся.

Между тем именно здесь — самое резкое его расхождение с принципами церковно-славянской орфографической традиции. Оно заключается в решительном неприятии того принципа „графической грамматики“, которая так характерна была для орфографии русских церковных книг. С точки зрения этого принципа знаки письма могут передавать не только звуковые, но также и непосредственно грамматические и лексические различия.

Непригодность этого принципа, отчасти родственного идеографии, не есть нечто очевидное; наоборот, в известной мере он осуществляется всякой орфографией (ср. хотя бы наши раздельные и слитные написания, предложенных конструкций в прямом и адвербиализованном употреблении, различия строчных и прописных букв и т. д.). Но ясно, что если полностью отвергнуть этот принцип, то лишится всякого смысла многое такое, что в рамках этого принципа имеет свой смысл. Тредиаковский в соответствующих пунктах своего рассуждения и пытается всякий раз опровергнуть практическое применение этого принципа, но не опровергает его в общем смысле, повидимому не усматривая самой возможности возведения соответствующих практических приемов к какому-либо общему принципу не звуковой, а грамматической или лексической орфографии.

Впрочем, в одном месте своего рассуждения, именно — излагая свое X основание, касающееся независимости русской орфографии от чужезычных традиций, Тредиаковский вскользь и частично касается и затронутой здесь стороны дела. Здесь он пишет (стр. 119—120):

„... ортографія не касаетъся, какъ токмо до буквъ, і складовъ, а до цѣлыхъ словъ ні мало, потому что ортографія есть правѣльной положе-

нѣ буквѣ въ склады, а складовъ во слова, изображая для гласъ токмо, по произволенію, извѣстнѣ гóлоса нашего своны, і своновъ разныі способы; а цѣлыя слова не значать своновъ нѣ ихъ способовъ, но самыѣ вѣщѣ имѣ изображаемыѣ, по общему всего каково нѣбудь народа согласію“.

Но обратимся к „основаниям“ Тредиаковского и к тем практическим выводам, которые он из них делает. Ясно, что наиболее существенные выводы он должен был сделать из своих I и II оснований, по которым в орфографии не должно быть никаких параллельных средств для обозначения звуков речи. Самый очевидный недостаток церковной орфографии он как раз и усматривает в том, что в ней очень много подобнозначных средств — „одногласных и несвязных“ букв, по его терминологии.

К одногласным буквам относятся: 1) *в* и *ѵ* в качестве согласного знака в греческих словах; 2) *е* и *є*; 3) *є* и *ѣ*; 4) *ѕ* и *з*; 5) *и* и *і*; 6) *и*, *і* и *у*; 7) *о*, *ѡ*, *ѡ*; 8) *ѡ* и *у*; 9) *ѡ* и *ѡ*; 10) *ѡ* и *ѡ*. К числу „одногласных“ Тредиаковский относит также *ж* и *ѡ*, оговариваясь при этом, что *ж* уже вышел из употребления.

К числу связных он относит: 1) *ѡ*, 2) *ѡ*, 3) *ѡ* и 4) *ѡ*. Из связных букв особого замечания требует только *ѡ*, которую Тредиаковский заменит сочетанием букв *ѡѡ*, каково именно, по его словам, звуковое значение этой буквы. (Значение этого показания Тредиаковского для русской исторической фонетики здесь я оставляю в стороне).

Интересно, однако, что такое произношение *ѡѡ* Тредиаковский считает „испорченным“, так как на основании графического анализа самого знака и на основании данных других славянских языков первоначальным произношением в данном случае он считает *ѡѡ*. Что касается „одногласных“ букв, то здесь большинство указаний Тредиаковского понятно само собой. Особого замечания требует, однако, то, что говорит Тредиаковский по поводу знаков *е*, *є*, *ѣ*. Смысл пространных рассуждений Тредиаковского по поводу этих трех знаков сводится к следующему: буквы *є* и *ѣ* являются „одногласными“ всегда, представляя собой знаки „двугласные“, т. е. знаки йотированных гласных (как увидим далее, Тредиаковский не отдает себе отчета в том, что в действительности представляют собой „двугласные“). Знаки же *е* и *ѣ* являются „одногласными“ лишь иногда, именно в тех случаях, когда *е*, знак чистого гласного, употребляется вместо *є*, знака „двугласного“, или наоборот, что бывает, например, в случаях вроде: *спаніе, единь* (здесь *е* = *ѣ*, или *творцѣмъ* в *dat. pl.*, где *ѣ* = *е*, лишь графически отличая *dat. pl.* от *instr. sing.*: *творцѣмъ*).

Иными словами, из утверждений Тредиаковского следует, что знак *е* обозначает гласный нейотированный, перед которым согласный произносится твердо. Поэтому же он решительно отрицает необходимость для русской азбуки знака *ѣ*. А знак *ѣ* обозначает *е* йотированное, перед которым согласный произносится мягко.

Вопрос о звуке *ѣ* в русском языке XVII—XVIII вв., как известно, имеет большую литературу и толкуется разными исследователями различно. Большинство исследователей последнего времени склонно признавать, что в это время *ѣ* еще не имел того же качества, что *е*. В. В. Виноградов, вслед за Шахматовым, считал возможным думать, что *ѣ* в это время звучал как *іе*. Между прочим, он ссылался при этом на встречающиеся у Тредиаковского написания *новоманѣрныя, пѣса*; из них большую силу, естественно, имеет второй из этих случаев. Здесь я не ставлю себе задачей детально обсуждать этот вопрос; он, в сущности, выходит за рамки моей темы.

Но замечу, что, с моей точки зрения, вполне достаточных оснований для признания дифтонгического произношения *ѣ* у нас нет. Ведь если не считать таких единичных орфограмм, как *пѣса*, то вывод о дифтон-

гическом произношении *ѣ* основывается преимущественно на интерпретации исторических свидетельств, к числу которых принадлежит и книга Тредиаковского (она подробно разбирается у Виноградова). Однако все эти свидетельства таковы, что в них очень трудно различить указание на *іе* от указаний на *'е*.

Другой точки зрения, согласно которой *ѣ* означал *'е*, а *е* — гласный, не смягчающий предшествующего согласного, держался Л. Васильев. Эта точка зрения мне представляется более правдоподобной, главным образом потому, что она связывает вопрос об *ѣ* с вопросом об *е* и считается с показаниями, согласно которым (как это следует из показаний Тредиаковского) *е* не смягчает предшествующего согласного. Принятию мнения Васильева всегда мешало его явно необоснованное желание подкрепить свою гипотезу указаниями на будто бы очень поздний факт смягчения согласных перед *е* в средневеликорусских говорах. Несостоятельность доказательств, которые приводит Васильев в пользу этого последнего утверждения, совершенно справедливо отмечена Виноградовым. Однако, на мой взгляд, Васильев ошибался лишь в том смысле, что принимал устанавливаемое им развитие *ѣ* и *е* за факт живой речи, тогда как перед нами, несомненно, факт произношения искусственного, книжного.

Надо сказать, что общий недостаток работ этого замечательного исследователя истории русских звуков заключается в том, что, оперируя очень богатым и цельным материалом, он никогда отчетливо не ставил перед собой вопроса о различии между книжным и живым произношениями. В пользу интерпретации Васильевым различия между *ѣ* и *е*, как различия книжного и живого произношения, в особенности свидетельствует, мне кажется, его ссыла на наблюдавшееся им лично старобоярское произношение.

Так или иначе, но для Тредиаковского, во всяком случае, знаки *е* и *ѣ* находились в соотношении, равном соотношениям: $a = я$, $o = іо$, $у = ю$, о чем он сам несколько раз говорит с полной ясностью. Но при этом у *ѣ*, с его позиции, оказывался дублет в виде буквы *ѣ*. Так как одно из основных требований Тредиаковского состоит в том, что лишних букв в алфавите быть не должно, то ему надлежало исключить из алфавита или *ѣ*, или *ѣ*. В первом случае это приводило бы к написаниям вроде *ѣхать*, *ѣра*; во втором — к написаниям вроде *мѣнѣѣ*, *тѣѣѣ* и т. п.

Однако Тредиаковский не пошел ни по одному из этих двух путей. Он сам признает, что ему следовало бы исключить из азбуки *ѣ*, и именно потому, что *ѣ* более соответствовала бы его XI постулату, как буква, более похожая на латинскую по форме, чем *ѣ*. Но так как *ѣ* уже в существующей орфографии употреблялась то как знак *іе*, то как *е*, Тредиаковский боялся, что повсеместное ее употребление вместо *ѣ* будет сбивать читателей, которые часто будут выговаривать ее как *е*, и отсюда, как он выражался, „гѣбель учінітсѣ въ премногіхъ словахъ чістому выговору...“ (стр. 197).

Эта осторожность в практических выводах вообще очень характерна для Тредиаковского. Он, однако, никогда не закрывает глаза на конфликты между требованиями отвлеченной разумности и живой общественной практикой, пытаясь в этих случаях находить тот или иной компромисс, как мы увидим не раз и в дальнейшем. В конце концов, в данном пункте в орфографии Тредиаковского остается непоследовательность, им самим сознаваемая: в составе средств этой орфографии сохраняются дублетные буквы *ѣ* и *ѣ*. Однако дублетность *е* и *ѣ* им рационально устраняется взаимной дифференциацией этих букв, как гласных знаков не-йотированного и йотированного.

Что касается прочих дублетных букв, то основания для устранения этой дублетности и для выбора одного знака из числа двух или нескольких в каждом отдельном случае совершенно ясны и логичны; у и ө Тредиаковский отвергает потому, что эти буквы традиция велит употреблять лишь в создаваемых лексических заимствованиях. Это, с точки зрения Тредиаковского, есть вторжение в русскую орфографию чужеродных орфографических принципов. S он предпочитает *з, і—и, о—о и ѡ, у—ѹ* как знаки, сходные с латинскими. Отдаленное сходство с латинским он видит и в Я, считая его перевернутым R, и это дает ему основание предпочесть букву Я букве А. При этом Тредиаковский в нужных случаях делает возражения против чисто грамматической или лексической дифференциации *е—ѣ, о—ѡ—ѡ* и т. п., встречающейся в церковном письме, постоянно проводя свою точку зрения на орфографию как на средство исключительно звукоразличительное.

К тому же общему принципу, согласно которому в орфографии не должно быть ничего лишнего, восходят, по существу, те требования Тредиаковского, которые касаются исключения из русской орфографии знаков придыхания, ударения и титлов. Эти требования излагаются им в „основаниях“ VII, VIII и IX.

Здесь интерес для нас представляет лишь то, что касается знаков ударения. Тредиаковский вооружается не столько против самого обычая ставить ударение на каждом слове — наоборот, в этом обычае он видит даже своеобразное достоинство церковной орфографии, — сколько против излишних различий в знаках ударения, скопированных с греческих. Ставить ударение в русском письме, по мнению Тредиаковского, — вещь не излишняя в силу подвижного характера русского ударения, — а его он ясно различает, противопоставляя в данном отношении русский язык французскому и польскому языкам. Впрочем, Тредиаковский настаивает на постановке знаков ударения только в случаях графического омонима, напр. *знакомъ*, в отличие от *знакомъ* и т. п. (стр. 237). Однако знак ударения должен быть единый, притом все равно какой, лишь бы каждый пишущий всегда пользовался одним и тем же избранным им знаком. Сам Тредиаковский употребляет ' , при этом только в графических омонимах.

Всем сказанным не затронут принцип Тредиаковского, согласно которому строчные и прописные буквы не должны различаться рисунком. Ясно, что этот принцип в лингвистическом отношении гораздо менее существенный, чем прочие. К тому же Тредиаковский его очень слабо придерживается в своем собственном письме. В конце концов, его применение сказывается лишь в том, что в письме Тредиаковского совпадают формы строчных и прописных букв для *е* и *ѣ*, в то время как остаются нетронутыми различия *Аа, Бб* и др. Создается впечатление, что сам этот принцип понадобился Тредиаковскому только для того, чтобы не помешать нужному для него различению *еѣ*.

Остающиеся два „основания“ (IV и V) касаются знаков *й, ѓ* и *ь*. Первый из них Тредиаковский толкует как знак гласного, произносимого короче гласного *і*. Так как для последнего избран знак *і*, а не *и*, то, по словам Тредиаковского, следовало бы и вместо *й* ввести *ї* (стр. 93—149). Но, не желая создавать не вызываемых насущной необходимостью новшеств, Тредиаковский оставляет в своей орфографии *й*, еще раз свидетельствуя этим, что для него существенна не столько графическая догма, сколько различительная способность знаков. Всем этим Тредиаковский рекомендует себя как человек с подлинным лингвистическим чутьем.

Последнее превосходно отразилось и во всем том, что пишет Тредиаковский о буквах *ѣ, ѡ*. Надо знать, что обе эти буквы, равно

как и букву *й*, Тредиаковский не считает в собственном смысле буквами. В отличие от букв, он их называет знаками, так как буква для него всегда должна обладать собственным звуковым содержанием. Разумеется, *й* с одной стороны, и *ѣ*, *ѵ* — с другой, в этом отношении суть „знаки“ в разном смысле этого понятия, и понимание этого сказывается у Тредиаковского в том, что первый и вторые два знака он анализирует особо, в отдельных параграфах.

Во всяком случае, нельзя не считать примечательным для деятеля первой половины XVIII в., что он не только не принимает в данном случае, как и во всех остальных, букву за звук, но и прекрасно разбирается в объективном содержании корреляции „твердость — мягкость“ согласных в русской фонетической системе (правда, только в применении к конечному положению). Так, Тредиаковский вполне осознает, что *ѣ* для русского письма, в сущности, не нужен. Он хотя и называет его знаком „отолщения“, но при этом постоянно прибавляет: „существенного отолщения“, — что по его собственному разъяснению, означает указание на природное, естественное свойство согласных во всех языках. Тредиаковский хочет этим указать на то, что „отолщение“, о котором он говорит, не есть результат какой-либо дополнительной артикуляции к основной артикуляции согласного звука, не предполагает какой-либо специальной работы органов речи.

Однако Тредиаковский считает нужным оставить *ѣ* в русской азбуке и орфографии вследствие того, что эта буква играет также роль того, что мы сейчас называем „разделительным знаком“. А уж если оставлять ее в середине слов, как, напр., *объявить* и т. п., то лучше оставить ее в привычном месте и на конце слов. (Разумеется, отсюда никак не должно следовать, будто Тредиаковский считает непременно твердыми все согласные перед *й* в случаях типа *объявить*, — в этом он, повидимому, не разбирался). Правда, говорит Тредиаковский, можно было бы заменить букву *ѣ* в таких случаях, как *объявить*, каким-нибудь другим знаком, напр. — или ' (!); но так как это было бы непривычно, т. е. новшеством без особой нужды, то он этого не рекомендует.

Зато он решительно возражает против мнения, повидимому высказанного кем-то из его собеседников, что можно было бы исключить букву *ѣ*, оставив только *ѣ*, и таким способом различать твердость и мягкость конечных согласных. Тредиаковский возражает против этого именно потому, что „отолщение“ есть нечто „существенное“, тогда как „отончение“ он так никогда не квалифицирует, т. е. понимает его именно как следствие дополнительной артикуляции.

III

Во всем описанном до сих пор речь шла преимущественно о составе алфавита и значениях отдельных его знаков. Однако, как явствует уже из одной вышеприведенной цитаты, орфография состоит для Тредиаковского не только из обозначения „звонов“, но также из правил, по которым из букв образуются „склады“ и „слова“. Значительная часть труда Тредиаковского посвящена также и этим, собственно орфографическим вопросам.

Характеристика церковной орфографии у Тредиаковского не ограничивается указанием на имеющиеся в ней лишние и связанные буквы, излишние знаки придыхания и ударения, титлы и чужезычные приемы письма. Она включает в себя также указания на то, что мы сейчас назвали бы морфологическим, или точнее — фонологическим, принципом правописания. Тредиаковский выражает это в следующих словах: „Ісѣсно

вамъ, что есть слова, первобразныя, і отъ нихъ производныя. Въ сіхъ послѣднихъ, чтобъ хранилъ тѣмъ самыя характеристическія (знаменательныя) буквы, которыя находились въ среднихъ складахъ, і въ другихъ прочихъ иногда у первобразныхъ, писатели по сей орфографіи весьма тшчатся о семъ, і думаютъ, что они погрѣшаютъ, ежели гдѣ, по случаю, сего не учинятъ“ (стр. 93).

Например, поясняетъ дело Тредиаковский, в слове *сладкій* пишутъ, вопреки произношению, *д*, а не *т*, так как первобразное слово *сладость* „имѣетъ характеристическую букву въ срединѣ (*д*)“. Этому правилу, продолжаетъ Тредиаковский, противоречатъ случаи вроде *пишѣ* при писаніи, где *ш* сменяется на *с*, несмотря на то, что эти два слова также связаны словопроизводственными отношениями между собой. Тредиаковский не понимаетъ разницу между обоими случаями. Он беретъ своимъ лозунгомъ положение Квинтилиана: „*sie scribendum quidque indico, quo modo sonat*“— „такъ писать надлежитъ, какъ звонъ требуетъ“ (стр. 190, 277), и указанное правило „старинной орфографіи“ считаетъ „не исправнымъ“.

„... Древняя наша орфографія, — говоритъ Тредиаковский, — не можетъ всегда наблюдать характеристическихъ буквъ въ производныхъ словахъ. Можетъ ли она написать *возможность* отъ *возмогу*, не мѣняя (*г*) на (*ж*) *возможность*? Всякъ изъ насъ скажетъ, что не можно такъ написать, чего жъ радъ? ибо звонъ требуетъ буквы (*ж*), а не (*г*). Что жъ больше? Такъ писать надлежитъ, какъ звонъ требуетъ“ (стр. 277—278).

Намъ сейчасъ совершенно ясна теоретическая ошибка, допущенная здѣсь Тредиаковскимъ. Она состоитъ, разумеется, не в томъ, что онъ в данномъ случаѣ становится на платформу фонетического письма. Сам по себѣ этотъ принципъ, с чисто лингвистической точки зрѣнія, нельзя считать ошибочнымъ: дело лишь в томъ, какую оценку мы даемъ этому принципу с точки зрѣнія практической и культурно-исторической целесообразности; ведь существуютъ же орфографіи, построенныя на этомъ принципе, напр. белорусская, сербская, испанская.

Однако ошибка Тредиаковского состоитъ в отождествленіи такихъ соотношеній, какъ *сладость-сладкій*, с одной стороны, и *пишу-писаніе* — с другой. Иными словами, Тредиаковский не отличаетъ позиционныхъ фонетическихъ изменений (*д > т* передъ глухими) отъ морфологизованныхъ звуковыхъ чередований (*ш/с, ж/з*), представляющихъ собой застывшій результатъ бывшихъ фонетическихъ процессовъ. Именно это отождествленіе — по существу неправильное, но темъ не менее очень любопытно характеризующее лингвистическую пытливость и наблюдательность Тредиаковского, — и лежитъ в основѣ выдвигаемого имъ фонетического принципа в русской орфографіи.

Развивая свое положеніе, Тредиаковский высказываетъ попутно некоторые интересныя мысли и дѣлится с читателями наблюденіями, которые представляютъ несомненную ценность в историческомъ отношеніи. Такъ, напр., онъ решительно восстаетъ противъ этимологическаго принципа в правописаніи, в чемъ нельзя ему не сочувствовать.

„Что мнѣ нужды, — пишетъ Тредиаковский, — что произведенія корень видѣнъ не будетъ“. „Стараетсяъ ли о корняхъ все общество пишущихъ“ (стр. 270). Корни, по словамъ Тредиаковского, нужны только ученымъ, и они ихъ все равно сумеютъ найти, какъ ни написать слово.

Беда Тредиаковского заключалась лишь в томъ, что морфологическій, точнее — фонологическій, принципъ в русской орфографіи в большомъ числѣ случаевъ совпадаетъ с этимологическимъ и именно этимъ последнимъ и удержанъ в русской правописной традиціи. Такимъ образомъ, „органическая орфографія“, Тредиаковского, какъ онъ ее называетъ, оказалась в противоречіи с объединенными силами принциповъ этимологическаго и фонологическаго.

Очень важно проследить, как именно осуществляет свой принцип „письма по звонам“ Тредиаковский практически. При ближайшем рассмотрении выясняется следующее:

1) Требование „писать по звонам“ имеет у Тредиаковского далеко не безусловный характер. Тредиаковский готов к очень большим уступкам установившемуся обыкновению и потому очень категоричен лишь в формулировании самого принципа, им отстаиваемого, но не в установлении соответствующих практических орфографических правил. Так, он готов считаться с теми возражениями против „органической“ орфографии, которые основываются на неизбежном появлении графических омонимов в случае последовательного применения принципа, как, напр. „рогъ“ — *genus* и *os*, *плотъ* — *fructus* и *rabis* и т. п.

Правда, по мнению Тредиаковского (повидимому справедливому), таких омонимов не может быть много. Но раз такие случаи все же есть, то Тредиаковский готов изъять их из общего правила: „Того ради, — говорит он, — пускай оні пишуться для раслічія, не по звону“. По мнению Тредиаковского, эта его уступка не имеет принципиального значения. „Я не весьма толь грубъ, — говорит он, — чтобъ всему обществу не хотѣлъ угодять; однако не такъ, чтобъ я сію (т. е. привычную) ортографію почиталъ праведною: я ея отдаю на волю каждому писателю, да і самъ себѣ подобныя жъ прошу вольности для того, что я і самъ многія ішче слова пишу не по звону, но по обыкновению“.

Тредиаковский считает это ограничение принципа временным. Он совершенно убежден, что рано или поздно его принцип все равно восторжествует, и хочет способствовать этому постепенным внедрением в практику фонетических написаний.

2) Из всего сказанного следует, что уже и в собственной своей орфографической практике Тредиаковский непоследователен в отношении применения защищаемого им принципа „органической“ орфографии. Действительно, даже и в области соотношения глухих и звонких согласных, которой он охотнее всего иллюстрирует свой принцип письма по звонам, в целом ряде случаев Тредиаковский сохраняет в своей орфографии традиционные написания.

Во-первых, он никогда не отражает в своей орфографии оглушения конечных звонких. Во-вторых, он не отражает оглушения звонких в середине слов в ряде случаев, из которых некоторые оговаривает, сам, напр. *общій*, *предпочітаю*, *средство*, *сродство* (стр. 282). Список таких исключений можно заметно расширить при помощи наблюдений непосредственно над текстом Тредиаковского, напр.: *обстоятельствъ* (14), *обществу* (14), *предпріятый* (14), *подпорою* (18), *убавку* (27), *положивші* (45), *молодцы* (12), *подтверждаемо*, *здравствовать*, *бывші* (13) и др. В частности, обращает на себя внимание, что на протяжении всей книги Тредиаковский ни разу не пишет *ф* вместо *в* в положении перед глухими.

Нет надобности искать этому какого-либо специального объяснения — напр. можно было бы думать, что это стоит в связи с южновеликорусским происхождением Тредиаковского, в говоре которого *в* в закрытом слоге звучало как *ш*. Нет, Тредиаковский прекрасно понимает, что *в* > *ф*, и даже говорит, что в строгом соответствии с принципом надо было бы писать *Петрофъ* (стр. 410).

Таким образом, отмеченные непоследовательности в написаниях Тредиаковского, который сам считал их непоследовательностями, объясняются исключительно его своеобразной орфографической политикой, т. е. стремлением постепенно приучить публику к „органической“ орфографии и не отпугивать ее массовым применением непривычных написаний.

3) Самое число тех фонетических положений, в отношении которых Тредиаковский применяет свою „органическую орфографию“, очень невелико. Кроме отражения на письме оглушения звонких и озвончения глухих, Тредиаковский допускает еще следующие орфограммы фонетического характера:

а) он не пишет знака зубного взрывного согласного в положении между фрикативным и сонорным зубным, напр. *шчаслівый, празнікъ, ізвѣстѣ, бесхитросныхъ* и т. п. Сюда же он, по этимологической догадке и в противоречии с общей его антиэтимологической тенденцией, относит *сройи* вместо *строгий*. Такие написания Тредиаковский считает своей индивидуальной привычкой и не настаивает на том, чтобы ему следовали в этом другие (стр. 283);

б) в ограниченном числе случаев Тредиаковский передает через *ц* сочетание *дс, тс* в положениях перед согласной, напр. *швецѣйи*. Ср., однако: *пріятство, готского*;

в) в словах *лехкій* и *мяхкій* и производных Тредиаковский пишет *хк*. Но — *кто, что*;

г) нередко он передает в орфографии *чн* > *шн*, напр. *нарошно, ста-тошно, прошно* и т. д.

4) Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что орфографические нововведения Тредиаковского ограничиваются исключительно областью консонантизма и ни в одном пункте не касаются вокализма (если не считать вышеизложенных его рассуждений по поводу *ѣ*). Это, разумеется, не случайно и находит себе объяснение в орфоэпических воззрениях Тредиаковского.

5) Неправильно было бы предполагать, будто Тредиаковский не отдает себе отчета в несоответствии орфографии и звуков речи в области гласных звуков. Наоборот, в книге Тредиаковского содержится большой и очень точный по своему материалу наблюдений по физиологии звуков русской речи, несомненно характеризующий автора как самого крупного знатока вопроса в его эпоху.

Ниже я останавлиюсь более подробно на этом материале, а сейчас замечу, что далеко не все то, что замечал Тредиаковский в живой речи, он считал принадлежащим к составу правильного, литературного русского языка. В связи с этим стоят его довольно пространственные рассуждения по вопросу об „употреблении“, в котором он различает разные стороны и оттенки. Так, напр., на стр. 295 он говорит о необходимости различать простонародный или „подлый“ язык от такого, „которому надлежитъ быть благороднѣе и чіще, для того, что сей послѣдній долженствуетъ употребляемъ быть въ пісменныхъ и ученыхъ сочиненіяхъ“.

На стр. 307 читаем: „Умѣющій человекъ нѣсколько чужіхъ языковъ, знаетъ, что въ каждомъ языкѣ живущемъ есть два способа, какъ имъ говорить. Первый употребляютъ люди знающіи сію въ своемъ языкѣ; а другой въ употребленіи у подлости і крестьянъ“.

На стр. 312 читаемъ: „Я вѣдаю, что есѣ знающіи і незнающіи нынѣ твердятъ. Употребленіе, а въ чемъ оно состоитъ; і сколько власть его надъ языкомъ долженствуетъ почитаема быть законною, того нікто у насъ не опредѣляетъ. Ежели твердитъ одно только употребленіе; то і блінніково употребленіе долженствуетъ быть важно“.

Далее, формулируя свое понимание употребления в ряде специальных параграфов, написанных от лица самого употребления, в одном из них (VI) Тредиаковский пишет так:

„Понеже мужіцкій і гражданскій языкъ некоторыі также мною однимъ употребленіемъ неправо называютъ; то я объявляю, что то токмо употребленіе, которое у большія і искуснейшія часті людей, есть точно мною рожденное; а подлое, которое не только меня, но і імені моего

не разумѣть, есть не употребленіе, но заблужденіе, которому родный отецъ есть незнаніе“ (стр. 325).

Все это хорошо согласуется и с другими аналогичными заявлениями Тредиаковского, например с его полемическим письмом против Сумарокова в 1750 г., в котором, между прочим, Тредиаковский писал: „У Автора и сельское употребленіе, есть правильное и красное: его жерновы, по присловію, толь добры, что все мелютъ“³ Очевидно, мы имеем дело не со случайным заявлением, а с выношенным, установившимся мнением.

А вот и конкретный пример того, как эта теория употребления отражается на орфографической теории Тредиаковского. Утверждая, что дамы „больше наблюдаютъ звоны в составленіи словъ своихъ“, Тредиаковский продолжает: „хотя нѣкоторые ізъ нѣхъ і производять са надлежащій предѣлы сії звоны тѣмъ, звоны ставятъ точнаго подлинно своего выговора, какіи оні составляютъ нѣкоторыя слова, но составленіе сіе бывають иногда не исправно, напримѣръ, *миласлівая* вместо *милостівая*; і прочая“ (стр. 283).

Это замечание Тредиаковского с предельной ясностью показывает, что принцип письма „по звонамъ“ не распространяется на такие явления фонетики, которые в его сознании представляются фактами языка не литературного, но принадлежащего к „лучшему употреблению“.

Разумеется, не только явления вокализма изымаются Тредиаковским из действия законов „органической орфографии“, но также и известные явления консонантизма, не относящиеся к языку лучшего употребления. Но это еще не значит, что Тредиаковский не замечает соответствующих явлений живой речи; он их лишь относит к дурному, не литературному, не ученому произведению.

„Многіи, — пишет он (стр. 329), — не токмо говорятъ, что простительнѣе но і пишутъ: *просітца*, *молітца* вмѣсто *просітся*, *молітся*, *ѣе* вмѣсто *ѣя*; *ѣво*, вмѣсто *ѣго*“ и т. д. Здесь несомненная ориентация на книжный, буквенный выговор, а потому здесь нет и никакого противоречия с принципами „органической орфографии“, потому что если и можно мириться с уклонениями от книжного выговора в самом произношении, в устной речи, то письмо во всяком случае должно отражать произношение образцовое, лучшее, т. е. книжное.

б) В книге Тредиаковского содержится также не мало указаний на отдельные орфографические проблемы, не связанные с звуковой стороной языка, напр. о написаниях со строчных или прописных букв, о правилах переноса, о слитных и раздельных написаниях адвербиализованных предложных конструкций (Тредиаковский здесь высказывается за написания слитные) и т. д. На этих вопросах, имеющих второстепенное значение, я останавливаться здесь не буду (см. стр. 283—288), а прямо перейду к заключительным положениям книги Тредиаковского.

IV

1. Все существенное в орфографической теории Тредиаковского изложено в первых двух частях его книги. Как мы видели, здесь Тредиаковский излагает свое орфографическое учение, отталкиваясь от церковно-славянской орфографической традиции и подвергая ее критике с точки зрения некоторых исходных положений, основанных на критерии „разумности“.

Однако в заключительной, третьей части своего труда Тредиаковский ставит себе задачей формулировать законы русской орфографии уже

³ Сборник Куника, II, стр. 470 и сл.

положительным образом, независимо от критики церковно-славянской традиции. Оставляя здесь уже полностью в стороне вопрос о том, что неудовлетворительно в наличной орфографической традиции и как следовало бы ее изменить, Тредиаковский в заключение говорит уже просто о том, что представляет собой, как известная система, постулируемая им орфография в ее отношениях к звуковой системе русского языка. Это заставляет его войти в подробности физиологии звуков русской речи и русской фонетики и представить соответствующие факты языка, которых до сих пор он касался лишь вскользь и попутно в систематическом изложении.

Эта заключительная часть книги Тредиаковского хотя, собственно, и не содержит уже чего-либо нового в чисто орфографическом отношении, тем не менее представляет собой большой исторический интерес, и именно как один из самых ранних опытов по русской фонетике в применении к русскому литературному языку современного типа. Без преувеличения можно сказать, что в этой части своего труда Тредиаковский предстает перед нами как пионер русской фонетики, стоящий на много выше всех своих современников.

Из их числа он, повидимому, многим был обязан своему общению с Вас. Овд. Адогуровым, сначала студентом, а впоследствии — адъюнктом Академии по математическим наукам и далее куратором Московского университета. Судя по скудным данным, которыми мы обладаем об Адогурове, его следует причислить к числу лучших представителей русской научной интеллигенции первой половины XVIII в. Будучи математиком, Адогуров в то же время занимался и языковедением. В частности, историки русского просвещения XVIII в. единогласно считают его автором известного сочинения „Anfangs-Gründe der Russischen Sprache“, приложенного к большому немецко-латинско-русскому словарю Вейсмана 1731 г.

Тредиаковский познакомился с Адогуровым приблизительно за год до того, по возвращении своем из-за границы, и жил некоторое время у него на квартире. По некоторым признакам можно судить, что это было не просто знакомство, но своего рода интеллектуальная дружба, взаимно оплодотворявшая обоих.

2. В области физиологии звуков речи, естественно, находим у Тредиаковского некоторые недоразумения, но наряду с этим также и много верно наблюденного и истолкованного. Тредиаковский не разобрался как следует в вопросе о том, что обозначают, с чисто физиологической стороны, йотированные гласные знаки. Буквы *я*, *ѣ*, *ѣ̇*, *іо*, *ю* он считает всегда знаками простых гласных, но только произносимых, как он выражается, с огушением, и ниже, чем гласные, обозначаемые буквами *а*, *е*, *о*, *у*.

Как бы ни понимать это „огушение“: как указание на наличие *j* перед гласным, — а этому противоречат настойчивые утверждения Тредиаковского о том, что это гласные простые, состоящие из одного звука, — или как указание на палатальный характер предшествующего согласного, — а это не в ладу с тем, что различия здесь Тредиаковский всегда приписывает гласным, а не согласным, а также с тем, что в йотованных гласных Тредиаковский отмечает наличие элемента *i*, ясно, во всяком случае, что двоякого значения этих знаков Тредиаковский не понимает.

Дело осложняется еще тем, что в эту же систему соотношений Тредиаковский вдвигает и отношение *i* — *ы*, считая *ы* „огущенным“ звуком *i*, т. е. придавая ему функцию своеобразного *i* йотированного. (*ы*, по его мнению, есть двойное *i*). Интересно, однако, что это неумение разо-

браться в физиологии звуков речи, в сущности, не помешало Тредиаковскому разобраться в функциональных отношениях между соответствующими парами букв и звуков, так что как фонетист Тредиаковский часто свободен от упреков там, где его можно упрекнуть как наблюдателя физиологии звуков речи.

Не понял Тредиаковский некоторых деталей и в общей системе гласных звуков русского языка, хотя один из самых важных вопросов этого рода, именно — различаемость гласных по подъемам, для него в принципе, повидимому, был ясен. Тредиаковский различает гласные по степени открытия полости рта; он даже предлагает своему собеседнику по диалогу воспользоваться для проверки своих утверждений зеркалом: „Відіте, — пишет он, — что знакъ (а) самымъ большимъ отверстіємъ устьъ проісноється; а знакъ (у), почітай самымъ меньшимъ. Посему громогласнѣйшая всѣхъ буквъ єсть (а), а всѣхъ гласныхъ глушаѣ єсть (у)“ (стр. 367).

При этом Тредиаковский превосходно определяет взаимные отношения гласных, устанавливая пропорцию, согласно которой *a* так относится к *e*, как *o* к *u*, однако так, что *a* и *o* находятся на разных ступенях. В этой пропорции Тредиаковский, между прочим, видит причину того, что *a* во многих языках изменяется в *e*, тогда как *o* — в *u*. Однако Тредиаковский не сумел понять, что *e* и *o* находятся на одинаковой ступени, и отсюда его недоумения по поводу перехода *e* в *o*.

Отдавая себе отчет в аканьи, на которое указал ему Адодуров (стр. 148—149) и которое он считает чертой специально московского говора, произношение *іо* на месте *e* Тредиаковский характеризует как „всего народа ніскій, і почітай могу сказать самый простой выговоръ“ И далее Тредиаковский не сумел найти в своей системе надлежащего места для гласного *i*, который он помещает между *e* и *o*, так что вся гамма пяти гласных представляется ему последовательностью одного направления.

Своеобразно мнение Тредиаковского о физиологии согласных. Он их считает не самостоятельными звуками, а лишь способами, какими приводится в действие гласный звук. Соответствующее определение встречается в первый раз уже в самом начале книги (стр. 20), где говорится, что буква может означать не только „звонъ“, приходящий от голоса, но такие, быть знаком „растворенія, какимъ въ нѣкоторый способъ приводітся тотъ нашего гóлоса звонъ“.

Сущность этого взгляда состоит в том, что согласные звуки считаются вообще безголосными и могли бы быть характеризованы, как шумы, добавляющиеся к голосу и этим его своеобразно каждый раз окрашивающие. Вот почему, превосходно различая звонкие и глухие согласные в их соотношениях, Тредиаковский, несомненно в соответствии с терминологией своего времени, называет их мягкими (звонкие) и твердыми (глухие).

Так как мягких и твердых согласных в нашем смысле Тредиаковский не различает, за исключением их положения в конце слова, относя различие между ними на счет соседних гласных, то у него получается 6 пар звонких и глухих, именно: *б-п*, *в-ф*, *г-х* (т. е. *γ-х*), *д-т*, *ж-ш*, *с-с*, при чем *к* остается звуком в данном отношении непарным (стр. 378).

В особый разряд „средних“ он относит *л-р*, *м-н*, и аффрикаты *ц-ч*. Замечательно, что сонорные *л-р*, *м-н* Тредиаковский противопоставляет попарно, но отдает себе полный отчет, что это противопоставление совсем не такое, как противопоставление звонких и глухих.

К „мягкости“ и „твердости“ эти противопоставления, по его словам, не имеют никакого отношения; противопоставляются же они потому, что „ісь каждыя пары въ простомъ поврежденномъ выговорѣ, одна за

другую подмѣняется“, т. е. здесь имеются в виду акустические замены типа секлетарь, микита и т. п.

Аффрикаты попали в „средние“, разумеется потому, что они не имеют противопоставлений по звонкости и глухости, а объединены в пару вследствие того, что Тредиаковскому известны их взаимные замены в диалектах (*цадно-чадно, цасто-чasto, цепець-чепець*) (см. стр. 357—358).

В целом, как видим, у Тредиаковского получается строго выдержанная система согласных, которая для своего времени должна быть признана очень разумной. Добавляю, что отсутствие в этой системе парных звуков *щ-ж* объясняется тем, что *щ* Тредиаковский трактовал как сочетание *шч*; как он произносил соответствующий парный звонкий согласный, остается, к сожалению, неизвестным, так как орфографическая традиция не дала ему, вероятно, повода обратить внимание на эту сторону дела.

Толкование буквы *г* как знака звука фрикативного в руководствах по языку XVI—XVIII вв.—вещь обычная. В согласии с прочими филологами этого времени, Тредиаковский замечает: „Сіе безъ всякого єсть спѣра, что всѣ мы россіане нашъ (г) произносимъ, как латинскоѣ (h)... Слѣдовательно, хотъ у насъ изъ согласныхъ такіа, которая бѣ сходствовала съ латинскимъ (g) передъ (а) (о) (і)“ (стр. 380—381).

Из дальнейшего, однако, выясняется, что дело сложнее и что речь идет здесь не столько об отсутствии звука, сколько об отсутствии буквы. Такую букву Тредиаковский считает для русского алфавита необходимой, и это потому, что, как признает Тредиаковский, в противовес только что сделанному заявлению о фрикативном произношении *г*: „впрочемъ въ нашемъ великороссійскомъ произношеніи давно, ілі іще ісстари уже она употребляється: ібо нікто у насъ сего слова гусь, і бесчисленно многіхъ другіхъ, не произносить такъ, как оно написано чрезъ (г), то єсть, какъ чрезъ (h) латинскоѣ по нѣмецкому і польскому произношенію, но какъ чрезъ (g) латинскоѣ ж: такъ напримѣръ, гусь. Однако все такіе слова пишем мы чрезъ (г) в противность произношенію. Можно сказать по французскому присловію, что подлинникъ сея буквы находится у насъ безъ копії“ (стр. 381—382). На мой взгляд все это имеет очень большое значение для понимания истории звука *γ* в русском литературном языке.

К сожалению, единственный источник для изучения истории этого звука в литературном языке, сверх того, что мы можем находить в современном произношении, это только показания современников, так как на письме оба звука в гражданской печати не различались. (В церковной различались *г* для звука фрикативного, и *Г* для звука взрывного, откуда заимствуют свою идею Аододуров и Тредиаковский).

Именно, можно думать, что собственно в литературном русском произношении, если его не отождествлять полностью с церковным, — а это уже и для петровского времени, вероятно, было бы неверно, не говоря уже о середине XVIII в., — фрикативное *γ* вместо взрывного *г* не было уже чисто фонетическим вариантом, но в известной мере представляло собой вариант только лексический, так как не всякое слово могло иметь двойное произношение. На основании свидетельства Тредиаковского, можно заключить, что известная часть лексики произносилась с *γ*, а другая — с *г*.

Вопрос здесь заключается лишь в том, можно ли оба эти лексические круга считать элементами одной и той же системы языка, т. е. можно ли считать *гусь* словом тогдашнего литературного языка, а, напр., слово *благ* — словом так наз. „просторечия“. Но вряд ли могут быть сомнения, что хотя бы ограниченный круг слов мог слышаться в двойком произношении, в зависимости от условий речи.

Таким образом, схематически можно было бы наметить следующие стадии в истории звуков *г* = *γ* в литературном языке:

I. Всякое слово произносится с γ , если попадет в контекст литературной речи (*бла γ о — γ у ς ь*).

II. Литературное слово γ , просторечие — γ (*бла γ о — γ у ς ь*).

III. Всякое литературное слово — двояко; просторечие — γ [*бла γ о (бла γ о)], *у ς ь*].*

IV. Благо сокращается до *бо γ* (*бок*!), *у ς ь*.

Думаю, что замечания Ломоносова в его „Российской грамматике“ ведут к тому же выводу. Он, как известно, указывал на произношение γ только для ограниченного круга лексик.

Вот все существенное, что можно извлечь из труда Тредиаковского в отношении физиологии звуков речи. Гораздо точнее Тредиаковский в том, что относится собственно к фонетике, т. е. к действующим в языке живым фонетическим законам. Здесь несомненен его научный приоритет в истории русской фонетики по целому ряду пунктов. Последнее он, ревнивый к своим заслугам, отмечает и сам, оговаривая, однако, случаи, в которых он повторяет чужое наблюдение — именно наблюдение, относящееся к аканью.

Соответствующие правила, излагаемые Тредиаковским, следующие:

1) В московском произношении неударяемое *о* произносится как *а*, напр. *малако́*. Выше мы видели, что хотя Тредиаковский и признает социально-культурное значение московского выговора, все же такое произношение он не склонен считать правильным.

2) В некоторых случаях (ближе Тредиаковский их не определяет) неударяемое *а* „в простом выговоре“ произносится как *е*, напр. *чесы*.

3) В „самом простом выговоре“ *е* произносится как *о*. Стремясь понять физиологическую подкладку $e > \hat{o}$, Тредиаковский догадывается, что такой переход предполагает мягкость согласного перед *е*, и потому приходит к заключению, что там, где этот переход имеет место, вероятно этимологически нужно предполагать *ѣ*, т. е. йотированный гласный, а не *е*. Так, на основании *совѣтъ* вместо *советъ* Тредиаковский приходит к мысли, что первоначально, вероятно, было *совѣтъ* (стр. 398—399). Нельзя не признать, что эти рассуждения Тредиаковского характеризуют его как мыслителя-лингвиста с самой лучшей стороны.

4) Вместо *і* преимущественно неударяемого, „часто в нашем выговоре“ слышится *е*. Здесь имеется в виду просторечное произношение *пѣвчей, начинаней* вм. *пѣвчій, начинаніи*. Как и предыдущий, этот пункт относится не к живым действующим законам, а к соотношению двух произносительных систем — книжной и живой.

5) Я преимущественно неударяемое, в „нашем нынешнем выговоре“ заменяется через *ѣ* (I), напр. *лѣдунка, кнѣгиня*.

6) $E > i$ в „простонародном выговоре“: *повелѣвайтѣ, сказывайтѣ*.

7) Нет ни одного слова, начинающегося с *ы*.

Тредиаковский заключает: „і ς ь сіхъ наблюдений втораго, третяго, четвертаго, пятаго, шестаго, седьмаго и осьмаго я могу назваться первымъ примѣчательнымъ, для того я ні у кого і ς ь нашѣхъ понынь о семъ не слыхаль“ (стр. 399—400).

Что касается фонетики согласных, то Тредиаковский сводит ее к следующим правилам:

а) звонкие (мягкие) сочетаются с звонкими, глухие — с глухими;

б) звонкие в конце слов становятся глухими, независимо от их мягкости или твердости;

Эти два правила Тредиаковский называет главными и генеральными. Далее следует:

в) сонорные „лучше соединяются“ с звонкими, а *ц, ч*, — с глухими, хотя это правило и не всеобщее. Т. е. Тредиаковский понимает неза-

висимость звонких и глухих перед сонорными: *влага-флагъ, врагъ-прахъ*, но с аффрикатами он запутывается.

Так как в его системе аффрикаты объединены с сонорными в общий класс „средних“, то он думает, что звонкие глухие ведут себя и в сочетании с аффрикатами так, как в сочетании с сонорными, и для этого переставляет порядок звуков. Напр., словом *офца* иллюстрируется преимущественно склонность аффрикатов сочетаться с глухими, а словом *цвѣтъ* — обратное;

г) зубные сливаются с последующими шипящими в долгие шипящие: *воишествіе, пріежій*. Сюда же относит Тредиаковский сочетание зубных с аффрикатами: *молоуца, прічча(!)*;

д) *gs, gc, ms, mc* перед согласной „исчезают“, а вмѣсто себя оставляют *ц*: *егіпецкій, персіцкій*“;

е) *жч, сч, св > шч*: *возмошчі, бесчніе, шчастіе*; тут же о *шн*: *прошно, нарошно*;

ж) в предлогах *к* перед *к* и *г* > *х*: *хъ кому, хъ королю, хъ грамматмъ!*;

з) *ж, ч, ш* не соединяются с двугласным *і ъ* (не различает твердых *ж, ш* от мягкого *ч*), — а потому *е > о*, а не *іо* (сам так пишет иногда: *учоный, жонка, решоточка*).

б. Как видим, только в очень немногих пунктах Тредиаковский не сумел разобраться в реальных звуковых отношениях, или в отношениях между буквами и звуками. Особенно ценно то, что Тредиаковский, оставаясь сторонником розни между языком литературным и живым, тем не менее проявил подлинно научный интерес к явлениям новой фонетики и сумел уловить целый ряд очень существенных ее явлений.

Описав эти явления, он, естественно, не мог в заключение не поставить еще раз вопрос о тех выводах, которые должны следовать из описанной фонетической системы для орфографии. Когда „чужестранец“, выслушавший все фонетические объяснения автора, констатирует, что в таком случае современная орфографическая практика не „органична“ и состоит в изображении не произношения, а „произведения“, то автор торжествующим тоном заключает: „Но дѣйствительно пишуть інако, а говорять інако, вы предлагааєте. Пишуть; да не должно такъ писать, я отвѣтствую“ (стр. 411).

Что касается непоследовательности своих требований в отношении органического характера правописания, то Тредиаковский извиняет ее необходимостью „снисходительства“ к установившимся обычаям: „с людми надо жить по людскі“ (стр. 414). Однако угрождение обычаям не должно быть „абстивым“: „В моёмъ случаѣ, — пишет Тредиаковский, — угрожденію сему должно состоять въ попущеніи, писать нѣкоторые слова по кореню, которые ещѣ не пишутся по органу: ібо много ужѣ ихъ, но і у насъ нынѣ пишутся по органу. Однако всегда твердѣть, что способъ писанія по произведенію естъ, не толь ісправенъ, коль оный, который по органу“.

Разумеется, помимо того, нужно считаться еще и с тем, что, как я не раз указывал, Тредиаковский не распространяет своего „органического“ принципа на такие явления произношения, которые он считает местными (московскими), „низкими“, „простыми“, „поврежденными“ и т. п.

V

1. Такова орфографическая теория Тредиаковского. Какова же должна быть ее историческая оценка? Мне кажется, она должна быть сведена к следующим положениям:

1) В своем орфографическом трактате Тредиаковский засвидетельствовал свое подлинное лингвистическое чутье, в особенности — умение

фиксировать свое внимание на различительных моментах в языковой системе. Большинство его положений, касающихся фонетики, оказывается соответствующим действительности, при чем надо непременно иметь в виду то, что в установлении этих положений Тредиаковский не имел предшественников и был подлинным пионером науки. Естественно, что менее совершенными являются его положения в области физиологии звуков речи, но иного было бы и трудно ожидать от русского деятеля первой половины XVIII в. Думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что даже и при всех несовершенствах, которые ей объективно присущи, излагаемая Тредиаковским физиология звуков речи для эпохи ее появления — вне конкуренции.

2) В собственно орфографической программе Тредиаковского есть ряд положений, совершенно разумных и теоретически вполне допустимых. Сюда относятся, например, его предложения об исключении лишних букв из алфавита. Не совсем в той форме, как это хотелось бы Тредиаковскому, но многие его положения в конце концов были практически реализованы в последующем ходе истории русской орфографии. Что касается самой формы, то предпочтение буквы *i* букве *и*, как известно, поддерживалось и многими позднейшими деятелями русского просвещения. Ничего худого не было бы, если бы из двух конкурирующих букв *з* и *з* в нашей орфографии сохранилась бы первая — своей победой вторая обязана лишь тому, что она была более употребительна и в древности. Короче, в вопросах состава русского алфавита все предлагаемое Тредиаковским с чисто лингвистической точки зрения неоспоримо, и если не все из его предложений исторически осуществлялось, то по основаниям не чисто лингвистического характера.

3) Что касается правил правописания в узком смысле понятия, то программа Тредиаковского характеризуется двумя противоречиями, подрывающими ее в основе:

а) Тредиаковский не сумел различить позиционно фонетических изменений от чередования звуков;

б) по условиям эпохи, он не мог стать на точку зрения полного отождествления языка литературного, ученого, с языком общества, хотя бы только в пределах образованной, культурной его части.

Никаких упреков в этом втором отношении Тредиаковский, разумеется, не заслуживает, и не только как сын своего времени, но прежде всего потому, что, как мы теперь хорошо знаем, такое отождествление стало возможно только после того, как живая речь общества сама прониклась известными элементами языка литературного и тем способствовала процессу слияния обеих разновидностей языка в нечто цельное.

Более того, Тредиаковский отличается от других деятелей XVIII в. именно тем, что уже и в то время склоняется в известной мере к такому слиянию и его, так сказать, исторически предчувствует — отсюда и его острый интерес к явлениям живой фонетики. Однако в середине XVIII в. не было надлежащих условий для осуществления подобного слияния, и в этом — одно из важных объяснений противоречивости позиции Тредиаковского.

4) Указанные противоречия в теории Тредиаковского не во всем имели отрицательный и одинаковый результат. То, что он продолжал отличать книжную речь от живой, мешало ему идти к ясным и последовательным заключениям только в отношении букв *е* и *ѣ*. Именно, мнение о различном характере звуков *е* и *ѣ* и оценка звука *о* на месте *ѣ* под ударением после мягких как выговора „низкого“ и „... самого простого“ позволили ему прийти к выводу, что если здесь и нужна дифференциация двух каких-либо знаков — все равно $e = \text{ѣ}$ или $e = \text{ѣ}$, —

то для различения не простого гласного и двугласного, а звуков *е* и *о*. Именно такое различие установилось много позднее в форме *е* = *ѣ*.

Справедливость, однако, требует отметить, что хотя в ряде случаев различие *е* = *ѣ* у Тредиаковского и не совпадает с нашим различием *е* = *ѣ*, напр. *зоветь* — *моѣ*, или *пей* — *скорѣй*, то во многих других случаях оба различия оказываются совпадающими, напр. *зоветь* — *моѣй*, *медь* — *вѣра* и т. п. С другой стороны, то, что Тредиаковский удержался от внесения фонетических написаний безударного вокализма, исходя из того же принципа книжного выговора, что его фонетический принцип не распространен им поэтому на такие написания, как *-ться* в инфинитиве и многие другие положения, привело, безусловно, к положительному для него результату с точки зрения исторических судеб русской орфографии, т. е. с точки зрения утвердившегося в ней как господствующего — фонологического принципа.

5) Этот фонологический принцип зато жестоко пострадал вследствие первого из отмеченных противоречий в системе Тредиаковского. Здесь его орфография не выдерживает суда истории русского языка. Фонологическая основа русской орфографии есть, в конце концов, результат случайности, именно — результат глубокого воздействия на русский письменный язык церковно-славянской орфографии.

Помимо всего того, что можно сказать и что говорилось уже не раз о громадном положительном значении церковно-славянского влияния на русский литературный язык в области лексической, морфологической, с особой силой мне хотелось бы сейчас подчеркнуть значение этого влияния для судьбы русской орфографии. Ему мы обязаны тем, что русская орфография, независимо от ряда частных ее несовершенств, сохранения в ней, напр., ряда чисто исторических написаний, вроде *-ого* и т. п., в основе своей фонологична, а потому очень удобна и покоится на прочном структурном фундаменте, Исторический урок, который можно извлечь из изучения орфографической жизни Тредиаковского, заключается в том, что отход от этого фонологического принципа в русской орфографии есть неизбежно вместе с тем отход от церковно-славянского предания, и обратно.

Под конец жизни Тредиаковский испытывал значительные колебания в своих орфографических взглядах. Писать по своей „органической орфографии“ он перестал довольно скоро, а в известном предисловии к „Телемахиде“, между прочим, писал: „Преважная сія задача, правѣль орфографіи быть по кореню, или по произношенію, и понынѣ еще не рѣшена, а м. б., что и во вѣки разрѣшена не будетъ. Разумъ побораєтъ по Выговору и доказательства его всѣ превесѣма тверды: но мудрованіе Грамматиковъ стоитъ такъ — сякъ за корень“.

Теоретик орфографии не умирал в Тредиаковском, и — что бы мы ни думали о практическом значении его трудов в этой области, — долг историка русской культуры, мне кажется, состоит в том, чтобы с почтительной благодарностью помянуть старейшего русского лингвиста, пионера русской фонетики, который так мало знал радостей в своей неудачливой жизни и для которого справедливый суд потомства задержался так надолго.